

# Хуан Вильоро

## Друзья-мексиканцы

### ХОМЯЧОК

Под конец путешествия, затянувшегося из-за дискуссии на темы кино, во время которой Паленсия пытался доказать Кармоне, что сюрреализм — вещь покруче порнухи, меня оставили наедине с каким-то министерским чиновником.

Он задал мне свои положенные полсотни вопросов; спросил, в частности, есть ли у меня псевдоним и состоял ли я в половых сношениях с жертвой похищения.

Секрет допроса состоял не в его продолжительности, а в той форме, в которой задавались вопросы, повторяемые в разных вариациях с тем, чтобы уловить расхождения в ответах. Эти вопросы, задаваемые каждый раз по-разному, неизбежно вызывали во мне разные реакции, вынуждали меня самого подозревать, будто я заранее что-то планировал или знал наперед.

Я думал о Катценберге. Ведь это я привез его в «Окссо», значит, и я был отчасти виновен в том, что произошло. Но было еще что-то, нечто далекое, почти неуловимое, какое-то чувство беды, неотступно преследовавшее меня. Они что охотились и за мной? Однако пока главное состояло в том, чтобы не сбиться в ответах на эти бесконечно повторяемые вопросы. Наконец, часа в два ночи меня отпустили.

Я вернулся домой и рухнул на кровать. Я подумал о кокаине, что оставил в той молочной банке. И тут же заснул. Как был, одетый. Я провалился в глубокий сон, в котором почему-то ощущал касания плавников.

Проснулся я в восемь утра. Выглянул в окно: в Парке де ла Бола бегали по кругу спортсмены. Потом включил автоответчик: два сообщения. Динамик звенел от захлебывающегося восторгом голоса Кристи: «Вот это текстовочка! Слушай, ты просто гений. Знаю-знаю, в наши постмодернистские времена не принято говорить комплименты, но ты вынуждаешь меня быть отсталой. Мечтаю увидеть тебя поскорее. Нет, целую тебя тысячу раз!» Да, Кристи была в восторге. Я и не знал, что Гонсало Эрдиосабаль отослал ей сценарий, да и факса Кристи я ему вроде не давал... Честно говоря, я вообще мало что помнил. Другое сообщение гласило: «Срочно необходимо твое присутствие. Таня вся изревелась». Моя бывшая разговаривала со мной так, словно с дочерью случился пожар, а я был пожарным диспетчером.

Я позавтракал, покурил и отправился к Ренате. По дороге я думал о Кристи, вспоминал ее восторженный голос, ее стремление «быть отсталой»; все это было так чудесно на фоне ужасающих обстоятельств. Я по-

---

Окончание. Начало см.: Латинская Америка, 2009, № 3.

думал, а что если однажды вот этим своим чудесным голосом она попросит меня забрать нашу дочь...

Гонсало всегда был настоящим товарищем. А теперь оказалось, что он был еще и лучшим, чем я, сценаристом.

Таню я нашел довольно спокойной. Зато Рената, казалось, читала на моем лице свидетельства самых ужасных преступлений, предусматриваемых статьями Уголовного кодекса. Она замахала руками, словно сгоняла рой мушек над вазой с фруктами. Потом, наконец, объяснила, в чем состояла проблема: Таня потеряла своего любимого тряпичного хомячка Лобито, очевидно, в нашем старом «Шевроле», который от ветхости больше досаждал, чем помогал и без конца намекал на то, что назначенная мною для него пенсия была ничтожной. Она указала рукой в сторону машины: вот, дескать, действуй, решай проблему, если ты мужчина.

Я стал искать хомячка в машине, невольно подражая обыскивавшим меня полицейским. Единственное, что мне удалось найти, была черепаховая брошка в форме знака бесконечности. Рената носила ее, когда мы только познакомились. И то, что эта хрупкая полупрозрачная вещица оказалась сделанной из панциря черепахи, мне показалось настолько же невероятным, как и то, что мои пальцы когда-то расстегивали ее. Теперь заковка не работала (или мои пальцы потеряли ловкость).

Я решил, что уж лучше пускай разбираются механики. Таня поехала вместе со мной в мастерскую. Механик в белом халате выслушал мою просьбу с невозмутимым выражением лица, словно ему приходилось каждый день доставать для своих клиентов грызунов из внутренностей машин. Впрочем, возможно, его смиренная готовность объяснялась просто воздействием постоянно вдыхаемых автомобильных паров.

— Будьте любезны, подождите в приемной, — и он указал в сторону застекленного прямоугольника.

Мы направились в приемную. Теперь у нас повсюду мозги ожидающих забивают телевидением. Мы попали как раз на официальный ролик, который вызывал у меня еще большее отвращение от того, что сценарий писал я. В течение минуты зрителю популярно объяснялось, как достигнуть народного счастья с помощью пенобетонных блоков, о чем радостно извещал сам сенатор президент. В сущности, ролик содержал в себе совершеннейшее противоречие: сама борьба с бедностью подразумевала ее неустранимость. Вначале возникал вид какого-то пустынного места, словно правительство таким образом хотело сказать: «Чем богаты, тем и рады». В последнем кадре появлялся какой-то худосочный младенец, тянущийся к бутылочке с соской: исполнительная власть выступала в роли кормилицы.

Я закрыл глаза. Очнулся я оттого, что Таня дергала меня за штанину.

Перед нами стоял механик в белом халате с тряпичным хомячком в руках:

— Нам пришлось демонтировать заднее сиденье, — с этими словами он протянул игрушку Тане. — Там мы нашли еще вот это, — в раскрытой руке он держал теннисный мяч, покрытый мшистой пылью и навсегда утративший свой свежий желто-лимонный цвет.

Я взял его трясущимися руками. Ощущение ворсистости гладкого шара заставило меня поверить в невероятное: Гонсало Эрдиосабаль, вечный игрок, меня обыграл и предал.

### **ПРЕСВЯТОЙ МЛАДЕНЕЦ МЕХАНИЧЕСКИЙ**

В далекие восьмидесятые Ренате нравилось чувствовать себя очень свободной, но в то же время ей нужен был автомобиль. И хотя она не призна-

вала никаких видов мужского превосходства и покровительства, ей пришлось уступить отцу, подарившему ей «Шевроле». Некоторое время она чувствовала себя униженной, подавленной, зависимой. И никакое гадание по «Книге перемен»<sup>1</sup> не могло дать ей утешительной метафоры, способной успокоить ее мятущуюся душу.

Тогда Гонсало Эрдиосабаль, всегда готовый помочь друзьям, особенно когда его душевная щедрость сопровождалась другими проявлениями его артистической природы, предложил подвергнуть машину процедуре то ли освящения, то ли посвящения: тогда, дескать, из «папочкиного авто» выйдет настоящий «ауто сакраменталь»<sup>2</sup>.

Гонсало обладал такой способностью убедительно нести всякую ахи-нею, что мы, в конце концов, согласились с его идеей: поехать к священнику, который благословлял такси в день святого Христофора, покровителя путников. Сам храм находился где-то чуть ли не на краю света; но в любом случае стоило проехаться, хотя бы для развлечения.

Помню, Рената отказалась крестить Таню согласно принятому обряду. Видимо, факт обладания роскошной машиной для нее, студентки Института антропологии, составлял куда больший комплекс вины, коль скоро акт свершения церковного таинства по отношению к автомобилю представился ей удобной возможностью совместить буржуазную вульгарность с сакральным обрядом.

Гонсало вызвался быть крестным отцом таинства. Он заявился к нам с переносным холодильником, набитым льдом и пивом, и кучей закусок, заботливо приобретенных на пригородном рынке в Тлальпане.

И мы двинулись невесть куда, где, к нашему изумлению, город все продолжался и продолжался. Несколько раз мы сбивались с пути; церковь эту никто не знал; все давали противоречивые советы; но тут мы увидели такси, явно принаряженное к празднику, о чем ярко свидетельствовали цветастые бумажные гирлянды. И мы решили ехать следом.

Когда мы приехали, там уже собралась десятка такси, ожидавших освящения. За ними виднелась церквушка, вздымавшая свои купола, окрашенные в такой жизнерадостный цвет, что она больше напоминала детсадовский домик.

— А они будут освящать машину, которая не такси? — спросила Рената.

— В этом-то вся и штука: не быть такси и быть здесь, — произнес Гонсало тоном гуру, пророка своего гибридного мира.

Чтобы скрасить нам ожидание, он подозвал музыкантов и достал пиво. На четвертой бутылке я почувствовал сострадание к моему другу. Должен сказать, что я опустил важную деталь: Гонсало был влюблен в Ренату, причем самым отчаянным и бессовестным образом. Он обхаживал ее так откровенно, что это становилось даже безобидным. И пока музыканты на тысячи ладов воспевали безответную любовь, я думал о той пустоте, что заполняла жизнь Гонсало и обретала формы его диковинных причуд в бесконечном бегстве от себя по дороге уходящих лет.

Время от времени у него появлялась какая-то женщина, но ни одно из этих приключений не длилось больше того времени, которого хватало на то, чтобы связать ему новый жилет в психоделических тонах или чтобы он овладел новой техникой йоги. Рената была для него чем-то вроде недостижимого горизонта, придающего видимость смысла его бессмысленным похождениям.

Поэтому, ожидая в долгой очереди, я почувствовал к Гонсало глубокую жалость и сказал ему то, что обычно говорится в паузах сентиментальных песен, когда струны ненадолго смолкают перед тем как зазвучать с новой силой.

Репертуар музыкантов иссяк еще до того, как подошла наша очередь. Когда, наконец, впереди нас оставалось только три такси, объявили, что иссякла и вода, причем не только в церкви, но и во всей округе.

Священник стоял на пороге с сухим кропилом. Ветер гнал мимо него газеты и полиэтиленовые пакеты.

Рената уже смирилась с мыслью о том, что ее «Шевроле» не суждено войти в священные врата и ей придется приезжать в Институт антропологии на некрещеной машине.

Но к тому моменту Гонсало уже порядком набрался и еще больше укрепился в своей миссии крестного автоотца. Он велел нам обождать и исчез, растворясь на грунтовой дороге.

Мы с Ренатой вошли в церковь. В боковом приделе сиял Пресвятой Младенец Механический: облаченный в джинсовый комбинезон, он вздымал крестообразный ключ. Его розовое личико с пухлыми, помидорного цвета и вида щечками, казалось, было писано маляром.

Алтарь был усыпан вотивными приношениями, свидетельствовавшими о чудесных избавлениях в дорожных происшествиях, и маленькими машинками, возложенными таксистами.

Мы вышли погреться в последних лучах уходящего солнца.

Гонсало умчался, как одержимый. Я в очередной раз с сочувствием подумал о его одиночестве, о его неразделенной страсти к Ренате, толкающей его к беспрестанным преобразованиям.

Страшный грохот и клубы поднятой пыли возвестили о его прибытии. Он болтался на подножке грузовика, развозящего бутылки с очищенной водой, которая плескалась в стеклянных сосудах, отдававших голубоватым сиянием.

Зрелище это было странное, но все же несколько эпическое; когда же грузовик подъехал поближе, оно стало криминальным: оказывается, Гонсало целился в водителя своим штихелем, которым он обычно вырезал на бальсовых торцах надписи вроде «Peace & Love». Он сошел с подножки: лицо его было искажено гримасой безумия.

Священник отказался совершать обряд краденной водой.

Гонсало развернул целый веер купюр:

— Он не хочет продать ни одной бутылки.

— Я не имею права даже изменить маршрут, — сказал водитель с тем рабским повиновением долгу, что исключает всякие переговоры.

— Эта вода уже стала жертвой греха, — произнес священник.

В пропыленном воздухе бутылки переливались драгоценным блеском.

— Ну, пожалуйста! — и Гонсало грохнулся на колени, патетически взывая одновременно и к священнику, и к водителю грузовика.

Двое таксистов помогли нам запихнуть его в машину. Всю обратную дорогу он молчал. Забавное субботнее развлечение обернулось постыдным поражением. Самым ужасным было то, что утешить нашего друга было невозможно. После всех моих самых прочувствованных уговоров он ответил мне сухо: «Не велика беда, со всяким бывает». Конечно, всякий может быть жалким маньяком. Всякий, но только не он. Та потеря самоконтроля была в нем первой и единственной.

Я проводил его до дверей дома. Он крепко обнял меня. От него несло кислым потом.

— Извини, я никудашный друг, — пробормотал он.

Естественно, я решил, что он имел в виду неудачную поездку к Механическому Младенцу. Спустя годы случайно обнаруженный теннисный мяч, завалившийся за заднее сиденье, придал его словам иной смысл.

## ДЕВИЗ

Несколькими неделями ранее неудавшейся попытки освящения автомобиля мы с общими друзьями и нашими подругами собрались провести уик-энд в загородном доме нашего друга-миллионера Хименеса Луке. И хотя только он один и владел ракеткой, теннисный корт собрал нас всех, словно единственный оазис в пустыне. Много мячей улетело далеко за металлическую ограду, окружавшую площадку. Но в нашем случае важен лишь один улетевший мяч. Он улетел, и Гонсало с Ренатой отправились искать его. Вернулись они через час с лишним и без мяча. Они прямо-таки обыскались его, но так и не нашли. У Ренаты горело лицо, и она почему-то без конца покусывала заусеницу на указательном пальце.

Сейчас-то мне было понятно, что мяч потерялся не где-нибудь в поле: они потеряли его на заднем сиденье «Шевроле», из которого я теперь выбирался. В эту же щель в свое время провалилась и моя расческа, когда мы с Ренатой занимались любовью в Пустыне львов. Туда же завалился и Лобито.

Мог ли это быть другой мяч? Нет, конечно! Количество теннисных мячей, потерянных во всем мире, не поддается исчислению. Но то, что я ощутил, поглаживая шерстистую поверхность этого мяча, только что извлеченного на свет, не оставляло места для сомнений.

Кроме того, были и другие факты. Именно с той поры Рената стала охладевать ко мне. Она не захотела близости уже там, в поместье, физически избегая меня.

Больше теннисом Рената никогда не интересовалась. Возможно, она больше не интересовалась и Гонсало. Во всяком случае, я не могу припомнить каких-либо дальнейших связей между ними. В определенном смысле она дала отвод нам обоим, поскольку не представляла себе одного друга без другого. Гонсало был для нее тем же, чем он бывал столько раз для других женщин и для себя самого: внезапным и коротким порывом.

Как бы там ни было, Гонсало все же пересек черту, превращавшую его в полнейшего сукина сына. Ведь когда он извинялся передо мной в тот вечер, он имел в виду совсем не свою идиотскую затею, а свое предательство, в котором не мог признаться.

Проклятый теннисный мяч жег мне руку. Я был так зол, что весь остаток дня не мог думать больше ни о чем другом. Я забыл про кокаин, оставленный в магазине. Я забыл про исчезновение Катценберга. Я забыл, что Тане нужен был бассейн для ее надувного китенка.

Мне никак не удавалось отыскать Эрдиосабалю. Я сжег все бумажки, облепившие мой компьютер, все, одну за другой, — лишь бы чем-то занять себя. Они сгорели, как и подобает жертвенным шкурам, но мне не стало лучше.

Я перелистал журналы. В одном из «Роллинг Стоунз» двухлетней давности я наткнулся на интервью с Катценбергом, которое раньше не читал. Одна журналистка спрашивала его: «Каков ваш девиз?». Как ни удивительно, девиз у него был: «Плывать в глубинах». Быть может, в этом и состоит секрет успеха — иметь свой девиз. Я сжег последний стикер и вышел на улицу.

Парке де ла Бола был не самым лучшим местом для того, чтобы проветрить мозги. Я тут же наткнулся на сыщика-сюрреалиста — Мартина Паленсию. В одной руке он нес спортивную газету, а в другой — пластмассовый стаканчик с кофе. Он предполагал передохнуть перед звонком ко мне. Мое появление нарушило его покой.

С явной неохотой он стал говорить о вещах, найденных в номере Катценберга: наброски статьи о насилии, заметки о «моментальном похищении» людей, о вытряхивании денег из уличных автоматов, о найденных в багажниках телах и т. д. Что я мог сказать по поводу всего этого? Я ответил, что Катценберг собирался

написать о мрачной стороне нашей жизни, пока не столкнулся с ней сам; что его нью-йоркское начальство требовало, чтобы он написал о Мехико что-нибудь ужасное, целую рубрику мексиканских жестокостей.

Паленсия, погруженный в свои мысли, отхлебнул капучино.

Я вспомнил претенциозный девиз Катценберга. Вот теперь бы он ему пригодился. Готов ли он плыть в глубинах, в которые попал? Я снова заговорил о том, что знал, хотя не знал почти ничего.

Паленсия с интересом заметил, что в заметках Катценберга фигурировало слово «бунюэлевский». Это шифр, что ли?

— Обычно иностранные журналисты обозначают словом «бунюэлевский» то, что в Мексике им показалось ужасным, но одновременно магичным.

— А что, если тут целый заговор? — и он стал мне угрожающе «тыкать». — Имей в виду: этот гринго приехал, чтобы встретиться с тобой, понял? Если попытаешься меня нае...ть, я тебя сам вы...бу. Ты помнишь «Попытку преступления» Бунюэля?

— Да, — сказал я, чтобы ускорить разговор.

— Так вспомни, что там происходит с куклой: ее поджаривают. А потом поджаривают и героиню. Будешь строить из себя целку, я тебя тоже поджарю, поняла, моя красуля?

Я хотел было уйти, но Паленсия меня остановил:

— Смотри, не пропадай — и он ущипнул меня за щеку со смертельно опасной лаской.

Я вернулся в дом. У дверей меня ждала Кристи.

— Извини, что пришла без предупреждения. Мне так хотелось увидеть тебя, — ее глаза как-то по-особенному блестели; она нервно пригладила волосы. — Я не всегда такая, честное слово.

Мы поднялись ко мне. Она сразу подошла к компьютеру, только что очищенному от желтой листвы.

— Меня восхищает твой способ работы над сценарием: твой компьютер вечно облеплен бумажками, эдакий современный Шипе-Тотек. В этом чувствуется аналитизм сценариста и первобытный синкретизм. Но не хотелось бы вдаваться во все это, — с этими словами она взяла меня за руку.

Итак, Гонсало Эрдиосабаль превратил меня в персонаж своего сценария. Меня изумляла избыточность его воображения, но в этот момент я не был способен размышлять. Губы Кристи слились с моими.

## БАРБИ

Было бы очень широким жестом забыть про пакетик кокаина ценою в двадцать долларов, но я все же вернулся в «Окссо» с намерением обследовать там каждую банку сухого молока. И не нашел ни одной.

— Что поделаешь, загрязнение окружающей среды, дефицит грудного молока, — сказал мне продавец. — Нам всегда не хватает этих банок.

Гонсало исчез так же прочно, как и мой кокаин. Я оставил ему массу сообщений, в ответ на которые получил только одно: «Дел по горло. Я еду в Чьяпас<sup>3</sup> со шведскими специалистами по правам человека. Удачи тебе со сценарием».

О дельфине Кейко тоже не было никаких известий. Нашел ли он свой дом в открытом море? Я совершил глупость, еще раз заехав с Таней в аквапарк. По пустому бассейну носился какой-то бессмысленный дельфин.

Я очень тревожился за Катценберга и боялся, что Паленсия пришлет ему какое-то дело, какое и вообразить себе невозможно. Но все-таки больше всего меня беспокоило то, что я не знал, о чем именно «я» написал в том сценарии. Ведь Кристи ценила прежде всего личность, воплощенную в тексте.

После встречи с ней я узнал, что у нее была чудесная родинка под ребрышком, и что она обладала уникальной способностью ласкать языком ухо; но я так и не понял, чем же я ее завоевал. И хотя она уверяла меня, что заинтересовалась мной с первого взгляда, я знал, что решающую роль тут сыграл сценарий. К тому же он позволял ей чувствовать себя ответственной за то, как я раскрыл свой дар: ведь это она предложила тему. В общем-то гордость ее была оправданной. Единственное, чего мне во всем этом не хватало, так это понимания, чем это она так вдохновилась. Она так часто цитировала какие-то куски из сценария, что, когда прозвучала фраза «Бог — это единица измерения нашего страдания», я и впрямь подумал, будто это я написал. Мне пришлось униженно-наставническим тоном объяснить ей, что это сказал не я, а Джон Леннон.

Одно из двух: либо сценарий Гонсало тянул на что-то значительное, либо мой внутренний мир был слишком убог. Как уверяла Кристи, тут я раскрылся полностью. Особенно ее впечатлила моя мужественная готовность признать свои поражения и недостаток чувствительности. Просто удивительно, как она сумела возвести все это в тезис о характере мексиканской идентичности: выходит, мое «я» с чудовищной точностью отражало сущность целой страны.

Кристи возлюбила убедительный образ мучительно нецельного существа, созданный Гонсало, эту тень, за которой я невольно следовал, сам не зная, какому сценарию подчиняться (интересно, а что, если попросить экземпляр у Кристи?).

Мало-помалу я стал внутренне преображаться. Вдохновленный некими неясными для меня добродетелями, которые приписывала мне Кристи, я сократил позорные моменты утренних вдохновений посредством банковских билетов. Жизнь без кокаина не проста, я по-прежнему впадал в прострацию или, наоборот, внезапно дергался. Но мне это было необходимо для того, чтобы убедить самого себя, каким нелепым я был еще недавно.

Дело Катценберга все еще было открыто, мне пришлось вновь посетить министерство. Мои показания должны были быть сверены со сведениями, полученными от других свидетелей и от кассира магазина. Протокол вел какой-то односторонний полицейский. Но писал он с такой невероятной скоростью, словно стремился доказать всем двуглазым, что уж они-то на такое не способны.

Сопоставленные, наши показания — смутные, неуверенные, полные умолков и недосказанностей — производили шокирующее впечатление полного бреда, словно мы заранее сговорились нести совершенно противоречивую чушь. Каждый видел разное, да еще и в разное время.

Я попытался объяснить ситуацию:

— В этой стране никто ничего не знает...

Меня продержали дольше остальных. По истечении семи часов допроса я вдруг проникся осознанием одного факта, который, в свете происходящего, тут же посчитал для себя «свидетельством»: когда мы выходили из «Лос-Алькатрасес», я воспользовался мобильником Катценберга, чтобы сообщить Панчо, что мы уже в пути. Потом я положил его на заднее сиденье автомобиля. То есть я его не отдал Катценбергу. Так вот что похитители искали в моей машине! Им нужен был Катценберг вместе со своим телефоном.

Меня обрадовало, что во всем этом хаосе я обнаружил недостающую деталь, но я не спешил поделиться своим открытием с кривым полицейским. Ведь телефон (или, вернее, звонок) выдавал мою связь с наркомиром.

Я был совершенно вымотан, но со мной еще желал побеседовать Мартин Паленсия. Нативидад Кармона наблюдал за нами со стороны, улаждая себя какой-то зеленой сладостью.

— Вот, посмотрите — с этими словами он показал мне куклу Барби. — Такие делают у нас в Тустепеке, но только вешают на них этикетку «Made in China». Эту куклу мы нашли в номере сеньора Катценберга. Вы не знаете, что она там делала?

— Наверное, хотел подарить своей дочери.

— А вы стали бы покупать куклу Барби в Мехико, будь вы гринго? Сдается мне, все это похоже на «Попытку преступления»...

Ко мне подошел Паленсия:

— Слушай, милашка, ты можешь заниматься твоими киноделами и остаться мужиком. Я пока еще не делаю из тебя петуха, но если ты напел что-то твоему приятелю гринго, ты у меня сильно пожалеешь. Плохие девочки плохо кончают — с этими словами он раздвинул ноги Барби и ткнул ей в промежность указательным пальцем. — Смотри, не разорвись надвое, куколка, — он явно обращался ко мне.

Когда они меня, наконец, отпустили, Кармона пожевывал мандариновую корку.

## ШЭРОН

Двумя днями спустя на сцене появился еще один персонаж — некая кукла, но совсем не того типа, о котором рассуждал Кармона. Шэрон прилетела в Мехико на розыски своего мужа. Она прибыла в шортах, словно ожидала попасть в тропики с морем и пальмами. К тому же все ее одеяния очень плохо сочетались с ее комплекцией. Новехонькие кроссовки «Найк» выглядели на ней не спортивной, а ортопедической обувью.

После обеда с нею у меня разболелась голова. Она возмущалась тем, что в зале было столько курящих, что музыка звучала так громко, а телевидение было таким пестрым. Мне тоже все это не очень нравится, но я не устраиваю по этому поводу истерик. Ее поразило, что мексиканцы из всех американских сыров признают только желтый (оказывается, белый значительно полезнее) и что я не знал, какое количество протеинов содержится в поданном на стол хлебе. Гастрономические пристрастия этой толстухи были сущей патологией, а ее манера вести себя явно требовала самой суровой диеты. Чтобы хоть как-то поддержать разговор, я спросил ее, появилось ли сообщение о похищении ее супруга в новостях CNN.

— Телевидение — то же самое, что префронтальная лоботомия<sup>4</sup>. Я не смотрю телевизора, — отрезала она.

В городе она практически не была, но вынесла убеждение, что мы в Мехико не уважаем слепых. Я сказал ей, что нет лучшего способа уважать этот город, как быть слепым, но она не оценила шутки.

— Я имела в виду слабовидящих, — торжественно изрекла она. — Здесь нет специальных пандусов. Ваши переходы — это дикость.

В общем-то она была права, но мне не нравилась ее манера делать глобальные выводы из ничего. Я погрузился в гробовое молчание. Тогда она достала последний номер «Пойнт-Бланк» со статьей о Катценберге. Репортаж был озаглавлен по-испански и по-английски: «Похищение».

Эта Шэрон вызывала во мне такое отвращение, что я не постеснялся читать в ее присутствии. Статья изобиловала фотографиями из семейного альбома исчезнувшего журналиста и воспоминаниями его друзей, сам он предстал в качестве жертвы беззакония, павшей во имя свободы слова. Город Мехико предстал в репортаже гигантским бандитским притоном, исчадием ада, где всем заправляют сатрапы и зловещие тираны, которым не место на земле.

Меня смутила приторность статьи и весь этот фимиам в адрес обыкновенного журналиста, но я и сам стал на его сторону, как только заговорила Шэрон.

— Сэмми не был никаким героем. Знаешь, сколько слабительного он принимал ежедневно? — она помолчала, и меня не удивило, когда она призналась. — Мы были на грани развода. Меня в этой истории настораживает другое. А что, если он попросту с кем-нибудь смылся, или бегаёт от моих адвокатов?

Я не был особенно высокого мнения о Катценберге, но его женушка была ходячим аргументом в пользу идеи самопохищения.

Шэрон покосилась на соседний столик. И тут же за пару минут выложила десять соображений о том, что эти двое неправильно воспитывают своего ребенка.

Я не знаю, может быть Шэрон выросла в лоне пуританской традиции; может быть, ее предками были суровые пионеры, привыкшие переносить тяготы первопрородческой жизни; может, она посещала церковь с голыми стенами, где хором распевали хвалу праведной простоте; может быть, вся ее жизнь прошла в этих моленьях. Ясно было только одно: она была твердо убеждена в том, что чем хуже правда, тем она лучше. Ей были настолько чужды человеческие эмоции, словно бы отделение чувств от явления составляло для нее главный этический принцип.

На третье, к которому, к сожалению, не нашлось слабокалорийных галет, она выложила мне свои права. Если бы она поддалась эмоциям, все было бы потеряно. Она руководствовалась только принципами.

Она предъявила претензии к «Пойнт-Бланк» за то, что там были опубликованы фотографии из семейного альбома без ее разрешения. Этот факт напрямую затрагивал ее интересы: раз фото уже опубликованы, ей будет сложнее продать их для сериала о трагедии, произошедшей с ее мужем.

Она только что вернулась из Лос-Анджелеса, где вела переговоры с продюсерами. Оказывается, я мог бы ей помочь. Ну, конечно, никто не станет разговаривать со сценаристом-мексиканцем. Но я мог бы выступить в качестве консультанта. Хотел бы я поработать консультантом? Никогда еще отказ не доставлял мне столько радости:

— Я друг Сэмюэля, — соврал я.

## ШАР — ЭТО МИР

Бредовость общения с Шэрон компенсировалась новыми и неожиданными проявлениями любви со стороны Кристи: так, она отвезла ее на субботний базар, где продавались изделия народных промыслов; достала ей жидкость для мгновенной дезинфекции любого салата и снабдила ее списком круглосуточных аптек.

К тому же она сумела наладить великолепные отношения с Таней и даже выучила сказку о хищных морковках, чтобы рассказывать ее в пробках.

Но самое удивительное было в том, что волна любви Кристи захватила и Ренату. Однажды они встретились вне дома.

— Какая она милая, эта твоя Кристи, — сказала моя бывшая.

В какой-то момент я и сам подумал, что, может быть, и мне дано «плавать в глубинах».

Но однажды поздним вечером, когда я полудремал под новости, льющиеся с телеэкрана, прозвенел звонок:

— Я здесь, — этот тихий, едва слышимый, вибрирующий голос с потрясающей ясностью давал понять невероятно простую вещь: «я жив».

— Где «здесь»? — спросил я.

— Здесь, в Парке де ла Бола.

Я сунул ноги в ботинки и выскочил на улицу. Сэмюэль Катценберг сидел под цементным шаром. Он выглядел исхудавшим. Даже в темноте его глаза излучали муку. Я обнял его цветастую рубаху. Он не ожидал этого и встрепенулся. Потом, словно бы только сейчас учился это делать, положил свои руки мне на спину. И зарыдал с глубокими всхлипами. Какой-то собачник, выгуливавший своего афганца, отошел от нас подальше.

От Катценберга несло затхлым потом. В перерывах между рыданиями он рассказал мне, что его выпустили где-то в окрестностях города. Возле цементного завода он смог взять такси. Адреса моего он не помнил, но ему запала в память эта нелепая площадка с шаром:

— Парке де ла Бола, — почти пропел он молитвенно.

И замолк. Потом поднял глаза к огромному шару, приблизился к нему, ощупал неловкими пальцами, узнал слабые очертания континентов.

— Шар — это мир, — сказал он прочувствованно.

Мы поднялись ко мне. Помывшись и придя в себя, он рассказал, что его все время держали в каком-то тесном помещении с закрытыми глазами; есть давали только сухие зерна. Как-то ему подмешали галлюциногенных грибов. Повязку снимали только раз в день, и он видел алтарь с предметами разных культур: христианскими, доколумбовыми, постсовременными. Среди этих образов он мог различить Богоматерь Гваделупскую<sup>5</sup>, обсидиановый нож, темные очки. Время от времени ему ставили «Конец» в исполнении «Дурз»<sup>6</sup>. За спиной у него кто-то воспроизводил бредовые стоны Джима Моррисона. Все это было настоящей пыткой, но зато помогло ему проникнуться ужасом мексиканского бытия.

Глаза Катценберга блуждали по комнате, словно он боялся встретить здесь кого-то еще. Я не боялся. Я уже знал, кого мне искать.

## FRIENDLY FIRE<sup>7</sup>

— Кого мы видим! — Гонсало Эрдиосабаль встретил меня на пороге в домашних туфлях.

Я молча прошел и долго не знал, с чего начать. Слишком много вещей перемешалось у меня внутри, в этом самом внутреннем мире, которого я так тщательно всегда избегал. Когда я, наконец, заговорил, мне так и не удалось выстроить в должном порядке переполнявшие меня чувства.

Гонсало уселся на диванчик, покрытый разноцветными ковриками. Вся обстановка в его комнате выдавала безумную страсть ее обитателя к разного рода тряпицам. Там были полстины индейской вязки диких расцветок, выдававшие явное воздействие галлюциногенов; афганские ковры; творения бывшей подружки, вышивавшей конским волосом по древесной коре, которые хоть пятнадцать минут, но слыли шедеврами...

— Чайку? — любезно поинтересовался Гонсало.

Я не предоставил ему возможности выступить в роли фитотерапевта<sup>8</sup>. Мой взгляд скользнул по плакату с изображением Джима Моррисона. Это похищение было мечено фирменным знаком. Как мог он действовать столь примитивно? Даже свою жертву он заставил преклонить колени перед синкретическим алтарем, который, наверняка — эта мысль заставила меня содрогнуться — фигурировал и в «моем» сценарии.

Я стал говорить искренне и сбивчиво о том, что все мы оказались жертвами его интриг. Нет, мы не были его друзьями — мы были пешками в его игре. Мы все могли попасть в тюрьму! Полицейские следили за мной! Пусть я для него ничего не значил, но подумал бы он хоть о моей дочери?! Я почувствовал во рту привкус горечи. Мне больше не хотелось видеть Гонсало. Я устал взгляд на узор его самого большого ковра.

— Извини, — сказал он, вновь произнеся слово, которое не оправдывало, а лишь обвиняло его. — Я не надеюсь, что ты меня поймешь. Я только хочу сказать тебе, что все вещи имеют свою обратную сторону. Позволь мне сказать тебе кое-что.

Я позволил, но не потому, что мне так хотелось услышать про другую сторону, а просто оттого, что у меня слишком дрожали губы для возражений.

Он напомнил мне, что во время первого приезда Сэмюэля Катценберга он навдумывал якобы мексиканские обряды именно по моей просьбе. Стало быть, это я вовлек его во всю эту историю. Выходит, Мартин Паленсия был прав, когда вертел в руках куклу: это я свел Катценберга с его похитителем, сам не подозревая о том. И как это я раньше не понял? Что за дьявол был этот Гонсало?

— Я артист, — сказал он серьезно, — и всегда им был, ты это прекрасно знаешь. Просто театр слишком тесен для меня, и мне пришлось выйти на другие подмостки. Ты ведь и сам представил меня Сэмюэлю не для правды, а для игры.

Катценберг проникся к нему симпатией и признался, что еще вернется в Мехико. Он сообщил это ему раньше, чем мне. Так вот почему Гонсало не удивился моему сообщению о том, что журналога вернулся. А что, в самом деле, было плохого в том, что они общались независимо от меня? Естественно, ничего. Сэмюэль ему многое рассказал о себе: о том, что он разводится и о том, что его брачный контракт содержал пункт, освобождавший его от ответственности в случае тяжелого нервного срыва; признался и в том, как ему важно было написать хороший репортаж.

— А насчет того, что какой-то ирландец-антисемит трахал его бабу и его подружку, все это чистое вранье. Нет у него никакой подружки. Ты, что, не видел Шэрон? Какой там ирландец... К тому же Сэми нравится прием монтажа. Он хотел, чтобы ты был рядом с ним. Он же видит твою сентиментальность. А знаешь, почему ему так нужен был хороший репортаж? Потому что сверщик подложил ему свинью, когда Сэми опубликовал свой репортаж о Фриде Кало и вулкане. Он обнаружил кучу неточностей, расхождений и выдумок, но ничего не сказал. А два года спустя в редакции прошла проверка на наличие бегунков<sup>9</sup>. Обычное дело для штатских изданий. Эти хреновы пуритане помешаны на правде и подлинности. Целый отряд сверщиков накинулся на журналы, и от репортажа Катценберга о Мехико остались рожки да ножки. Но ведь основным поставщиком всей этой лабуды был ты! Ты наплеал ему с три короба, только бы унять его жажду экзотичности. Сэмюэль ошибался: его «Глубокая Глотка» был просто психом. Знаешь, почему он обратился к тебе во время своего второго приезда? Именно потому, чтобы узнать, о чем *не* надо писать. В дураках оказался ты. И тебе лучше признать это.

Так вот каким видел меня Катценберг: все мои слова внушали ему максимум недоверия. И вот почему он был столь уклончив со мною тогда в «Лос-Алькатрасес». Он мог поверить там чему угодно, только не тому, что говорил я.

Похищение, организованное Гонсало, погрузило его именно в ту реальность, которой он жаждал. Катценберг переживал свои муки узника как *настоящее* приключение: каждый эпизод был полон для него всепоглощающей мексиканской подлинностью.

— Знаешь, на войне случается так, что приходится открывать огонь по своим. Это называется у гринго *friendly fire*. Не думаю, чтобы Сэмюэль мучился больше, чем он хотел помучиться. После этого развод и репортаж покажутся ему просто подарком. А знаешь, кто проплатил выкуп? — он сделал театральную паузу. — Его журнал.

— Сколько тебе заплатили, сукин ты сын?

— Подожди, это еще не все. А знаешь, что тут нашел Катценберг?

Я не ответил. Во рту кипела горькая слюна.

— Ты знаешь этих Барби, что лепят в Тустепеке?

Я вспомнил куклу, что мне показывал сыщик, но ничего не ответил. Гонсало и не ждал никакого ответа:

— Перед встречей с тобой Сэмюэль съездил в Тустепек. Он обнаружил, что на заводе работали одни китайцы. То есть одна шанхайская мафия из-готовляла здесь поддельных Барби, выдавая их за подделку из Пекина. Мы живем в мире отражений: все есть копия копии, сплошное пиратство. И следующий репортаж Сэмюэля будет называться именно так: «Китайские тени».

Гонсало Эрдиосабаль подлил себе чаю.

— Правда не хочешь?

— Чай тоже пиратский? — спросил я. — Сколько тебе заплатили?

— За кого ты меня принимаешь! Ничего мне не заплатили! Шестьдесят пять тысяч долларов предназначались для бедных детей из Чьяпаса!

Он показал мне квитанцию, напечатанную на непонятном языке. И добавил:

— Вложения капитала контролируются правительством Швеции. Мы обратили насилие на благое дело, — он неспешно отхлебывал чай, вставляя в паузах. — Ты перепутал бедного Сэмюэля со всей той бредятиной, которую сам впихнул в него до этого. Он едва не потерял работу. А теперь он не знал, кому и верить. Если бы я его не похитил, им бы занялась китайская мафия.

— Выходит, ты его похитил из человеколюбия?

— Ну, не упрощай. Однако в конце концов все обернулось во благо ближнего.

Я больше не мог сдерживаться:

— А Ренату ты трахнул тоже во благо ближнего?

— Это ты о чем?

— Да о том уик-энде, козлинка. И о теннисном корте. И о том, как вы с Ренатой отправились искать мяч, а вернулись черт-те когда. Я говорю о том теннисном мяче, который я только что нашел под задним сиденьем «Шевроле», том самом «Шевроле», в котором ты трахал Ренату, животное!

Гонсало ничего не ответил, потому что в этот самый момент зазвенел его мобильник. Звонок воспроизводил гимн Соединенных Штатов в исполнении Джимми Хендрикса<sup>10</sup>. К моему изумлению, Гонсало сказал:

— Это тебя, — и протянул телефон.

Звонила Кристи. Она обыскала меня повсюду и страшно скучала по мне. Она тосковала по морщинкам у моих глаз — бандитским морщинкам, сказала она. Таким морщинкам киношного бандита, который всех убивает, но оказывается самым добрым и справедливым.

Гонсало Эрдиосабаль взирал на меня сквозь клубы пара, поднимавшиеся от его свежедолитой чашки.

Когда я выключил телефон, он произнес усталым голосом:

— С Ренатой я ошибся. Это никому не помогло: ни тебе, ни ей, ни мне. Но ведь вас уже несло по кочкам, согласись. Я всего лишь распахнул ворота. И попросил у тебя прощения. Все это было сто лет назад. Ну, ты что хочешь, чтобы я встал перед тобой на колени? Так и встану, мне не трудно. Ну, извини меня, дружище. Я ошибся с Ренатой, но не ошибся с Кристи.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Только то, что она тебя обожает. Мне это было ясно с того момента, когда мы все встретились после того идиотского спектакля, как он там назывался? А, «В краю ящериц». Просто нужен был толчок. Она сомневалась в тебе. Ну, мы все сомневаемся в тебе, но это уже кое-чего стоит, потому что в большинстве человечества я не сомневаюсь: дрянь людишки, и все тут.

— С ней ты тоже играл в теннис?

— Не будь пошляком. Я написал то, что я о тебе думаю, мне кажется, наилучшим образом. Или ты возражаешь? Писал я от первого лица, как будто это говоришь ты. Я ведь артист, а артисты привыкли говорить от первого лица.

Я молчал. Мне стоило огромного труда произнести эти слова, но я не мог уйти, не сказав их:

— У тебя есть копия сценария?

— Естественно, маэстро.

Гонсало словно ждал этого момента. Он тут же протянул мне переплетенную рукопись.

— Как корочки? Тип текстуры называется «дым»: обложка черная, но прозрачная; ты можешь видеть сквозь нее. Твои мозги такие же. Почитай-почитай, хоть поймешь, как я тебя люблю.

Остатки достоинства помешали мне ответить.

Я вышел, счастливо избегнув мелодраматического хлопанья дверью, но все же позволив себе вызывающе оставить ее открытой.

## ДОЛЛАРЫ

Катценберг вернулся в Нью-Йорк вместе с женой, но развелся через несколько недель безо всяких юридических проволочек. Тот, кто пережил похищение в Мексике и был поименован самим президентом как «*an American hero*», имеет право на исключение из общего правила бракоразводной паутины.

Он позвонил мне из своего нового кабинета, чтобы поблагодарить за все, что я сделал для него.

— Я плохо о тебе думал после моей первой поездки. Но Гонсало настоял, чтобы я вновь связался с тобой. Знаешь, и в самом деле стоило.

Его репортаж о китайской мафии с ее двойным пиратством имел сенсационный успех, который вкупе с историей о его похищении принес ему высочайшую награду: *Meredith Non Fiction Award*<sup>11</sup>.

Сценарий я читал с тем же изумлением, с каким его, должно быть, воспринимали читатели в Соединенных Штатах. Гонсало подменил меня собой с поразительным умением. Он с точностью описал все мои манеры и мании, но сумел сделать так, что мои недостатки представлялись привлекательными. Написанная им моя автобиография была высочайшим доказательством его актерского вживания в персонажа. Но не только. Он доказал, насколько он может мириться с моими недостатками.

Из чистого самолюбия я протянул два месяца, прежде чем сказать ему все это.

К тому же я обнаружил, что мой стиль в исполнении Гонсало значительно выигрывал. И только благодаря заданной им тональности я смог раскрыть тот самый внутренний мир, на который так надеялась Рената.

В разговорах с ней я никогда не касался их приключения с Гонсало. Моя единственная месть состояла в том, что я молча протянул ей найденный под сиденьем мяч, но, видимо, память слишком капризная штука. Она взяла его с безразличием и положила во фруктовую вазу, словно еще одно яблоко.

У Кристи установились с Таней совсем доверительные отношения, хотя она и не понимала нашего интереса к судьбе Кейко; может быть потому, что все это происходило до ее появления в нашей жизни.

Кстати, дельфин был единственной нашей печалью: он не умел добывать себе пищу и не нашел себе пару в далеких холодных водах. Наверное, он скучал по своему аквариуму в Мехико. Единственным утешением — во всяком случае, для нас — было то, что Кейко стал главным героем в фильме «Освободите Вилли».

— Почему бы тебе не написать сценарий, — спросила меня однажды Таня с той же обескураживающей надеждой, которую годами раньше питала ко мне ее мать.

Что же, Кристи была права: пришла пора забыть про дельфина.

Последний эпизод, связанный с Сэмюэлем Катценбергом, произошел, когда однажды вечером я высунулся в окно поглядеть на Парке де ла Бола и на детей, носившихся на роликах вокруг земного шара. Небо было чистым и ясным. Лесные пожары наконец-то прекратились. Какой-то шорох заставил меня обернуться: кто-то подсовывал под дверь конверт.

О содержимом конверта я догадался уже по его весу: там не могло быть ни книги, ни даже письма. Я аккуратно вскрыл его. Рядом с долларами лежала записка от Сэмюэля Катценберга: «Я прилетаю в Мехико на днях, делать новый репортаж. Аванса достаточно?».

Спустя полчаса раздался телефонный звонок. Точно, Катценберг. Воздух наполнился треньканьем бесконечных звонков. Но я не подошел к телефону.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> «Книга Перемен» — классический памятник письменности древнего Китая (V в. до н.э.), в основе которой лежит сложная система интерпретации судьбы человека.

<sup>2</sup> «Ауто сакраменталь» (букв. «священное действие») — красочный литургический обряд, определивший жанр испанской барочной драматургии, который, в свою очередь, породил формы массового мистериального празднества.

<sup>3</sup> Чьяпас — штат в Мексике, населенный преимущественно индейскими племенами; район постоянных социальных конфликтов и природных катаклизмов. В этническом отношении Чьяпас представляет собой чрезвычайно сложно диверсифицированный феномен, не поддающийся однозначной идентификации, что делает его своего рода символом Мексики. В 1994 г. в Чьяпас вспыхнуло крестьянское восстание «сапатистов», переросшее в род гражданской войны.

<sup>4</sup> Префронтальная лоботомия — операция по проникновению в головной мозг, приводящая к необратимым последствиям. Обычно осуществлялась инструментом, похожим на нож для колки льда, вводимым через глазную орбиту. Широко применялась в начале 50-х годов в США.

<sup>5</sup> Богоматерь Гваделупская, или Смуглая Дева — покровительница Мексики, образ, явленный индейцу-пастуху Хуану Диего. Ее изображение обычно присутствует не только в храмах, но и во всех домашних алтарях, наряду с культовыми предметами смешанного типа. Традиционно считается свидетельством культурного синкретизма мексиканской нации.

<sup>6</sup> Речь идет о пьесе, исполнявшейся в 60-х годах рок-группой «Дурз» и вдохновленной творчеством Дж. Моррисона. Эта пьеса — настоящий культовый феномен для США.

<sup>7</sup> Friendly fire (англ.) — огонь по своим.

<sup>8</sup> В Мексике нет обычая и привычки пить чай, который там считают одной из целебных трав, а пьющего чай человека — нездоровым.

<sup>9</sup> Бегунок (на издательском жаргоне) — список проверенных и уточненных данных, сверенных с языком оригинала.

<sup>10</sup> Хендрикс Джими (1942—1970) — американский рок-музыкант, бас-гитарист.

<sup>11</sup> Meredith Non Fiction Award (англ.) — премия за лучшее документальное произведение.